

АРХИВ

Сергей Ушакин

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: О ЛИТЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОШЛОГО

Введение к блоку об историзме в литературе для детей прослеживает возникновение метода историзации прошлого на примере популярной книжки-картинки «Вчера и сегодня» С. Маршака и В. Лебедева (1925 г.). Опираясь на бинарные схемы, книжка демонстрировала, что временные различия (вчера/сегодня) — с одной стороны культурные, то есть усвоенные (старое/новое), но одновременно исторические, укорененные в конкретном и потому переходящем социальном контексте (устаревшее/прогрессивное). Порядок вещей становился метонимией социального устройства: за предметами вчерашнего и сегодняшнего быта стояли «бывшие» и «новые» люди. «Вчера и сегодня» стала одной из первых советских детских книг, в которой метод раннесоветского историцизма нашел наглядное выражение. Предложенная в ней поэтика разрывов заложила основу раннесоветских способов литературной обработки прошлого. Метод контрастного противопоставления прошлого и настоящего, хорошего и плохого станет базовой повествовательной формулой советской детской литературы. Осуществляя операцию «временной прописки» вещей и людей, эта раннесоветская версия историзма смогла упорядочить многоукладность сосуществования разнородных практик, форм мышления и приемов символизации, и следовательно, продемонстрировала историческую несовместимость этих вещей, укладов и стилей. Во второй половине 1930-х гг. поэтика исторических разрывов подвергнется ревизии. Интерес к противопоставлению прошлого и настоящего сменится интересом к преемственности: «сегодня» будет восприниматься как естественное продолжение революционного «вчера». На смену историзму придут исторические аллегории.

Ключевые слова: историзм, прошлое, поэтика разрывов, историческая несовместимость, темпоральность, объектно-ориентированная онтология, исторический материализм

Сергей Александрович Ушакин
Принстонский университет, Принстон
oushakin@princeton.edu

...книжный рынок дает нам прекрасно сделанные «занимательные» физику (Перельман), химию (Рюмин), минералогию (акад. Ферсман), авиацию (Вейгелина) и т. д., но занимательного обществоведения еще никто не написал.

Кибардин 1929, 122

Роман и история родились на одном корню. <...> Позже началась дифференциация. <...> Чем дальше уходил роман от истории, тем сама история становилась суше. <...> Живого образа прошлого нет уже ни в исторических романах, ни в толстых исторических книжках.

Покровский 1930, 5, 6, 7

Нам надо не обнародовать нашу историю, а создавать ее. Надо понять исторический факт. Надо stalkивать факты, вскрывать их противоречия, видеть в прошлом будущее.

Шкловский 1938, 16

Иллюстрированная детская книжка-картинка Самуила Маршака и Владимира Лебедева «Вчера и сегодня» вышла в свет в Ленинградском издательстве «Радуга» в 1925 г. Время появления книги примечательно и вряд ли случайно. Именно весной 1925 г. влиятельный партийный журнал «Печать и революция» развернул на своих страницах острую полемику о советской литературе для детей¹. На фоне этих журнальных публикаций книга Маршака-Лебедева предлагала отчетливое новое направление движения детской литературы: от глупых мышат и эксцентричных цирковых чудес, существующих (как будто) вне времени и пространства, — к радикальным переменам раннесоветского быта; от маньеристских виньеток и завитков «Мышонка» в исполнении Владимира Конашевича — к подчеркнутому графическому минимализму советского «сегодня» в иллюстрациях Владимира Лебедева (Рис. 1, 2).

При помощи словесных и визуальных формул книга доходчиво конструировала новое восприятие идущих перемен и — одновременно — новое отношение к прошлому. Уже сама обложка драматически обыгрывала название книги и визуально материализовала



Рис. 1. В. Лебедев. Обложка книги С. Маршака «Вчера и сегодня». (Ленинград: Радуга, 1925)

разрыв между старым и новым. *Временные* различия (вчера/сегодня) предлагалось воспринимать не только как различия *культурные*, то есть усвоенные (старое/новое), но и как различия *исторические*, что означало укорененные в конкретном и потому преходящем социальном контексте (устаревшее/прогрессивное). В процессе такой литературной обработки прошлое не просто уходило (физически и метафорически) в темную даль времени. Прошлое активно *историзировалось* в виде набора людей, вещей и идей, сама логика и способы бытования которых выносили их за пределы современности. Лидия Гинзбург чуть позднее хорошо сформулирует основные принципы этого подхода в своей программной статье «Пути детской исторической повести» 1931 г.:



Рис. 2. В. Конашевич. Иллюстрация к книге С. Маршака «Сказка о глупом мышонке». (Петербург-Москва: Синяя птица, 1923)

...историзм исторического романа сводится к двум основным моментам: во-первых, читатель получает впечатление некоторой необычности всех условий, их нетождественности тому, что существует в настоящее время; во-вторых, эта необычность оказывается закономерной, то есть «знаки эпохи» (слова, вещи, поступки) воспринимаются как признаки специфически неповторимой системы [Гинзбург 1931, 166].

Через полвека после выхода книжки Маршака-Лебедева Фредрик Джеймисон в своем известном «императиве диалектической мысли» отчеканит сходный принцип обработки и проработки прошлого: «*Ни дня без историзации!*» (Always historicize!) [Jameson 2002, ix]. С участниками дискуссий о детской литературе Джеймисона, впрочем, объединяло не только явное стремление к обозначению эпистемологической и прагматической ограниченно-

сти/неповторяемости исторического наследия. Как и Джеймисон, участники дискуссий о детской литературе также отдавали «приоритет политической интерпретации литературных текстов» [Там же, 1]. В центре их внимания — как и у Джеймисона — оказывалось «классовое сознание» исторических групп.

Между двумя типами историцистов существовало и принципиальное различие. Теоретики и практики раннесоветской детской литературы оставляли за скобками основной тезис Джеймисона об утопическом характере любой формы классового сознания. Находясь в самом начале создания советского общества, они во многом воспринимали утопичность нового строя как дело времени/временное — как будущее, которое, может, еще не наступило, но которое неизбежно наступит. Анна Гринберг, наверное, наиболее непримиримый борец за новую детскую книгу, чутко сформулировала суть этого мировосприятия в одной из своих статей. Отмечая необходимость новых книг, соответствующих требованиям нового — советского — читателя, Гринберг оптимистично подводила итог в 1926 г.: «Еще нет той настоящей, горячей, крепкой, талантливой, советской, новой детской книги, которой он ждет. Но она не может не явиться» [Гринберг 2013, 11].

Органически удаленные от современности

Публикации Гринберг во многом и определили тон, направление и язык дискуссии о новой литературе для детей во второй половине 1920-х гг. О жизни Гринберг до сих пор известно крайне мало. В значительной степени она остается человеком-загадкой. Появившись в Москве в 1925 г. (судя по отрывочным данным — из Киева, а до того — из Парижа), она исчезнет без следа во второй половине 1930-х гг. За десять лет своей бурной деятельности она успеет возглавить редакцию журнала «Народный учитель», поработать сотрудником в «Учительской газете» и «Печати и революции», отредактировать любопытную серию парадокumentальных книг о беспризорниках (на основе их собственных рассказов) и написать несколько брошюр о покушении на Ленина и его смерти с неожиданными фотомонтажами Сергея Сенькина, ученика Казимира Малевича и Эль Лисицкого.

Запомнится Гринберг, впрочем, не своей оригинальной версией «литературы факта», а бойкими, едкими и бескомпромиссными статьями-обзорами о положении детской литературы. Вдохновленная социальными преобразованиями в стране, Гринберг активно

историзировала не столько прошлое, сколько само поле детской литературы. Уже ее первая публикация — статья «О детской советской литературе и детском читателе», вышедшая весной 1925 г. в «Печати и революции», — напористо продвигала идею о (классовой) ущербности книг, выпущенных после революции: «все появляющееся в нашей печати в течение семи лет... ..оказывается малопригодным для нового детского читателя. И даже более того: советская детская литература в массе поражает невниманием к этому новому рабоче-крестьянскому читателю» [Гринберг 1925, 125]².

Истоки такого «невнимания» Гринберг находила в специфике имеющейся литературы (и ее авторов), точнее — в «пропасти между пролетарским читателем и тем, кто его литературно обслуживает» [124]. Как разъясняла Гринберг: «Первый и главный недостаток нашей детской литературы в том, что в массе своей она все еще литература интеллигентская. Интеллигентская по замыслу, форме, стилю, языку, подходу» [125].

Опасность «безусловной интеллигентщины» [127] Гринберг связывала с политикой репрезентации, формировавшейся под влиянием «интеллигентского» происхождения. Используя примеры из детской периодики, Гринберг настаивала, что «интеллигентщина» детских журналов превращала «самые жизненные события и факты нашей современности... в звонкую отвлеченность» [131]. Иными словами, «сегодняшние» события и факты оказывались в плену «вчерашних» выразительных средств. «Современность» скрывалась тенью «прошлого». Спустя год Гринберг поясняла эту мысль так:

Если автор детской книги — мастер и спец довоенного качества, он органически далек от современности... Он помнит прежнего читателя, основного потребителя бывшей детской книги, — балованного, начитанного малыша из интеллигентской семьи, ребенка-эрудита, тонко осведомленного с дошкольных лет о бегемоте, о кенгуру и об Африке. Этот автор... не вламывается в современность: у него есть вкус и чувство стиля; он остается в прежних литературных пределах, он отстаивает право на существование испытанных приемов и старых сюжетов. Если когда-нибудь и он включит в круг своих персонажей пионера и октябренька, то, очевидно, в качестве нового изыска, иной экзотики: пионер и октябренок — своего рода кенгуру и крокодил СССР [Гринберг 2013, 12].

Задав общее направление анализа детской литературы в своей первой публикации — «*прежнее как не-современное*» — Гринберг

расставит необходимые дополнительные акценты в своей следующей статье в осеннем номере «Печати и революции» 1925 г. Программное название публикации — «Книги бывшие и книги будущие» — уже не просто диагностировало наличие «пропасти» в литературном производстве для детей, но и показывало (едва) наметившийся выход. Как и прежде, Гринберг связывала возникновение разрыва между производством и потреблением *литературы* с изменившейся *социальной* ситуацией. Новая тематика и новая поэтика должны были стать мостом, преодолевающим образовавшуюся пропасть.

Опережая выводы «рецептивной эстетики» (эстетики восприятия) 1960-х–1970-х гг., Гринберг конструировала обобщенные литературные габитусы двух типов читателей, не устывая подчеркивать, что наряду с «прежним читателем» теперь есть и «новый читатель» [Гринберг 1925а, 245]³. Показательно, что *временные* особенности (прошлый/новый) в данном случае преподносились как особенности *онтологические*. Те или иные черты жизнедеятельности замыкались в конкретные хронологические рамки: читательский опыт и читательская биография историзировались. Ситуация «пропасти», таким образом, удваивалась, разделяя не только нового читателя и старых писателей, но и читателей разных *онтологических ориентаций*.

«Прежний читатель» воспринимался Гринберг преимущественно метонимически — как историческое, точнее, «органическое», продолжение и отражение его материального, социального и пространственного *окружения*:

У него была детская. В детской был голубой слон и плюшевая обезьяна. Самое интересное, что он знал о живой жизни, был живой кот и настоящая собака. Он сильно скучал и капризничал, и в погоне за радостью для него сбивались с ног и няня, и мама, и детский писатель. Писатель писал для его развлечения книжки о домашних приключениях любимых животных, — настоящего кота и живой собаки. Для того, чтобы вышло забавней, писатель-поэт писал о том, чего не бывает, а о том, что бывает, писал по-небывалому. Животные у него говорили как люди, коза была мать, медведь был именинник, утка надевала чепец, а крокодил гулял с тростью по главной улице [Гринберг 1925а, 245].

«Новый читатель» был принципиально «иным» [245]. Вместо своей «детской» у него был коллективный «детский сад», а вместо капризов и скуки — четкая политическая ориентация:

Был обездоленный маленький обитатель индивидуальной детской, который любил собачку и зайца, и у слона искал утешения в скудости своего детства. Но пришел новый рабоче-крестьянский малыш. Он хлопнет ручкой по книге и спросит: «*Это про СССР?*». И, узнав, про не про СССР, а умывальник, досадливо пожмет шестилетним плечом [Там же, 247].

Два различных типа читателя — «обитатель индивидуальной детской» и «рабоче-крестьянский малыш» — естественным образом обозначали два полюса поля литературного производства. Как писала Гринберг: «Все разношерстное и многообразное изобилие детских книг на книжном рынке... ...распадается всего надвое: на книги бывшие и книги будущие» — то есть, на «книжные побрякушки для старого, прежнего, для бывшего читателя» [245], с одной стороны, и книги — результаты «новых исканий», книги — новые «и по замыслу, и по форме», с иллюстрациями — «деловыми и точными, без беллетристической болтовни» [252], — с другой.

Поэтика исторических разрывов

Книги издательства «Радуга» для Гринберг были, безусловно, книгами «бывшими» — затейливыми «побрякушками» для читателя, уходящего в небытие под воздействием хода истории. Признавая в своей статье талант того же Маршака (продемонстрированный в «Цирке» 1925 г.), Гринберг не упускала возможности уточнить, что поэт «пренебрегает советской детской современностью», используя ее только как «случайный предмет игривого упоминания» [247]. В своем детальном разборе книг писателя Гринберг вновь и вновь повторяла неутешительный вывод о том, что «и все остальные книги Маршака» написаны «для бывшего читателя» [249]. Сегодня сложно сказать, в какой степени «Вчера и сегодня» стала ответом на критику Гринберг, но нельзя не заметить, что книга резко выделялась среди других публикаций Маршака того времени. Благодаря новизне своей тематики, поэтики, визуального оформления и социальной направленности, она «вламывалась в современность» решительно и бесповоротно.

Независимо от конкретных причин появления книги, ее публикация предложила одновременно и показательную иллюстрацию к дебатам о состоянии детской книги, и внятный практический ответ на вопросы и проблемы, затронутые в этих спорах. Иконотекст книги (то есть ее визуально-текстуальная организация) успешно отразил интенсивные поиски доступных выразительных средств, с по-

мощью которых можно было бы описывать прошлое, одновременно дистанцируясь от него. Или чуть иначе, тип историзации в виде подчеркнуто контрастного изображения «вчера» и «сегодня» стал действенным методом «дерегуляции исходных экономик смысла» [Hamilton 1996, 4]. Линейность истории, преемственность материального, социального и интеллектуального развития подвергались последовательной дифференциации, фрагментации и поляризации. И бытовая очевидность нетождественности «вчера» и «сегодня» должна была придать этой фрагментации органический — и потому закономерный — характер.

Важность «Вчера и сегодня», на мой взгляд, и заключается в том, что она стала одной из первых советских детских книг, в которой метод раннесоветского историцизма нашел свое наиболее наглядное выражение. Поэтика пропастей, разрывов и прочих прерывностей, предложенная в этой книге, заложила основу раннесоветских способов литературной обработки прошлого. Более того, метод контрастного противопоставления прошлого и настоящего, хорошего и плохого, героического и не очень, столь ярко и доходчиво артикулированный Маршаком и Лебедевым, станет базовой повествовательной формулой советской детской литературы⁴.

Причины успеха этого метода связаны, прежде всего, с приемами (бинарного) упорядочивания и организации исторического и современного материала. Историцистская проработка прошлого осуществлялась в книге в процессе последовательной инвентаризации его *материального* наследия. Форзац «Вчера и сегодня» обозначал эту тенденцию особенно ясно: мир людей, предложенный на обложке, резко сменялся миром вещей: «лампой керосиновой, свечкой стеариновой, коромыслом с ведром и чернильницей с пером» (Рис. 3).

Последующие страницы развивали этот отстраняющий сдвиг повествовательного фокуса. Монологи от лица различных «бывших» вещей были посвящены одной общей теме — теме неожиданной утраты какой бы то ни было значимости в новых условиях.

Лампа плакала в углу
За дровами на полу:
—Я голодная,
Я холодная.
Высыхает мой фитиль.
На стекле густая пыль.
Почему — я не пойму —
Не нужна я никому [Маршак 1925, [4]].



Рис. 3. В. Лебедев. Иллюстрация к книге С. Маршака «Вчера и сегодня». (Ленинград: Радуга, 1925)

Жалобы (вещи) об утрате дееспособности и агентности плавно перетекали в жалобы об утрате востребованности и заканчивались жалобами об утрате смысла существования. Другими словами, ощущение экзистенциальной заброшенности и социальной десубъективации агентов прошлого сплетались с признанием их эпистемологического паралича («почему я не пойму — не нужна я никому»).

Маршак уравнивал эти «травматические» истории отчаяния оптимистическими картинами неумолимости технологического прогресса. Индивидуализму лампы-керосинки, например, противостояла электрическая лампочка с ее включенностью в сеть распределенных отношений, а каллиграфическим ухищрениям перьевой ручки — стандартизированная машинопись.



Рис. 4. В. Лебедев. Иллюстрация к книге С. Маршака «Вчера и сегодня». (Ленинград: Радуга, 1925)

Серии сюжетных «нетождественностей» прошлого и настоящего в виде фундаментальных материальных, социальных, онтологических и гносеологических различий, предложенных *в тексте*, дополнительно подкреплялась контрапунктными иллюстрациями Лебедева. Асинхроничность стилей, использованных для репрезентации условного «вчера» и условного «сегодня», демонстрировали не только разнородность визуальных режимов организации этих периодов, но и принципиальную визуальную несовместимость «старого» и «нового» (Рис. 4). Их диссонансирующее сосуществование обнажало отсутствие гармонизирующих механизмов, способных свести «вчера» и «сегодня» воедино.

Принципиальная значимость такой поэтики разрывов для историзма 1920-х гг. становится особенно очевидной при сравнении разных изданий книги Маршака. Например, в иллюстрациях Михаила Скобелева в версии 1973 г. интенсивность визуального контраста между прошлым и настоящим существенно снизится. Само визуальное присутствие прошлого будет сведено до минимума. Художник разместит черно-белые репрезентации «бывших вещей» по краям страниц. «Старое» в буквальном смысле маргинализировалось, «съезжалось» и «блекло». Соответственно, тема конфликтного сосуществования старого и нового вытеснялась темой



Рис. 5. М. Скобелев. Иллюстрация к книге С. Маршака «Вчера и сегодня». (Москва: Изд-во Малыш, 1973)

стилистической и повествовательной целостности широкоформатного и цветного «сегодня» (Рис. 5).

Разумеется, фокус на вещах прошлого как основном материале его историзации был во многом предопределен самой направленностью поэтики исторических разрывов. Джеймисон в своей книге справедливо напоминает нам, что спектр «историцистских операций», как правило, сводится к двум направлениям; оптика историциста ограничена либо фокусом на «историческом происхождении *самих вещей*», либо — на «менее осязаемой историчности *концепций и категорий* (курсив мой — С. У.), благодаря которым мы и пытаемся понять эти вещи» [Jameson 2002, ix]. Любопытно, что «Вчера и сегодня» сочетала оба направления, отмеченные Джеймисоном. В финале книжки история о бывших и новых *предметах быта* меняла направленность, эволюционируя в историю о бывших и новых *людях*. Под маской историцизма материальных условий скрывалось стремление историзировать субъектности (и субъективности).

Следуя общей структуре книги, ее ключевой вывод подавался в виде онтологического контраста. Двигаясь «от противного», читатель получал возможность самостоятельно прийти к «правильному», то есть положительному, умозаключению. «Светлое» —

досоветское и недоступное — «прошлое» в данном случае озвучивалось от имени коромысла. Вещи, среда, быт, люди, их физическое состояние и их моральные установки связывались «коромыслом» в единую цепочку негативной этнографии настоящего:

Никто по воду не ходит,
Коромысло не берет.
Стали жить по новой моде.
Завели водопровод.
Разленились нынче бабы,
Али плечи стали слабы?
Речка спятила с ума —
По домам пошла сама.
А бывало к ней с поклоном
Шли девицы с перезвоном,
Шли девицы за водой
По улице мостовой [Маршак 1925, [11]].

Этот новый — противоестественный, противоположный, «спятивший с ума» — порядок *вещей* закономерно проецировался на его пользователей и выгодоприобретателей. Объектно-ориентированная онтология прошлого преобразалась в негативную биополитику настоящего:

А теперь иной невежа
Захотел водицы свежей —
Шевельнул одной рукой,
И вода бежит рекой [Маршак 1925, [13]].

Картина «упадка нравов» — состояние прогрессирующей физической и умственной «слабости» людей — логично завершалась вердиктом «бывших вещей» об эпистемологической и онтологической никчемности пользователей. Исходный посыл книги выворачивался наизнанку, предлагая своего рода раннесоветскую версию футуристического «бунта вещей». Функциональная бесполезность «устаревших» предметов («никому я не нужна») на деле являлась следствием смысловой ограниченности «новых невеж». Вещи (прошлого) были лучше, чем люди (настоящего).

Интересно, что на уровне повествования Маршак воздерживался от сколько-нибудь прямолинейной дидактики. Явная ошибочность вывода «вещей» не оспаривалась, и педагогический «урок» литературной обработки прошлого подавался не в виде однозначной сентенции, а формулировался косвенно на протяжении всей

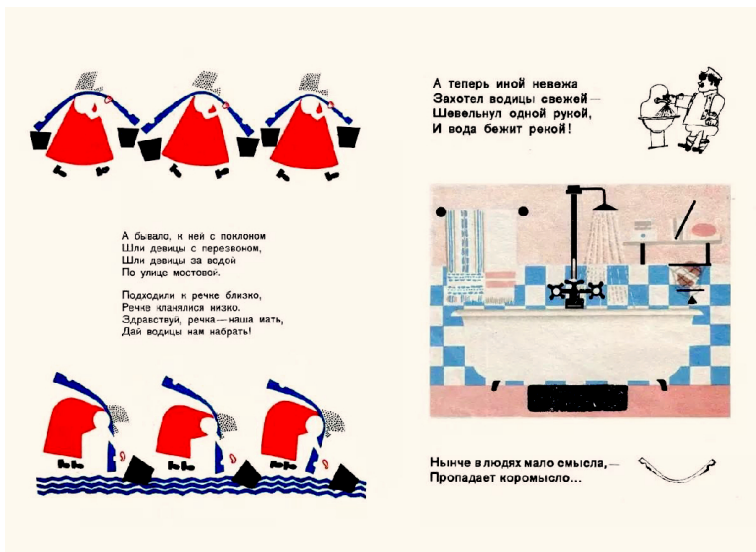


Рис. 6. В. Лебедев. Иллюстрация к книге С. Маршака «Вчера и сегодня». (Ленинград: Радуга, 1925)

книги. Этот скрытый конфликт, это прогрессирующее ощущение нетождественности сказанного и подразумеваемого в определенной степени обнажалось в конце книги с помощью структурного диссонанса. Комизм «трагического» мировосприятия технологических инноваций современности со стороны «вещей прошлого» акцентировался сломом привычного ритма четверостиший. Свою историю о «вчерашних» вещах и «сегодняшних» людях Маршак обрывал неожиданным заключительным аккордом в виде незаконченного двустишия (Рис. 6):

Нынче в людях мало смысла —
Пропадает коромысло... [Маршак 1925, [13]].

Несмотря на всю свою, как сказала бы Анна Гринберг, «игривость», диалектика истории и современности, предложенная Маршаком-Лебедевым во «Вчера и сегодня», оказалась эффективной и технологически, и идеологически. Осуществляя операцию «временной прописки» вещей и людей, эта раннесоветская версия историзма смогла упорядочить многоукладность сосуществования

разнородных практик, форм мышления и приемов символизации. Изолирую на отдельных страницах книги разнородные вещи, уклады и стили, акцентируя их визуальную законченность и историческую «нетождественность», авторы тем самым разводили эти «уклады», так сказать, по разные стороны исторических баррикад. Обратной стороной поэтики разрывов становилась политика исторической несовместимости этих самых вещей, укладов и стилей.

Важно и другое: проблематичность прошлых — точнее, «бывших» — практик, форм и приемов определялась здесь не только их «устаревшими», то есть, сравнительно малоэффективными возможностями. Суть проблемы виделась в том, что «устаревшее» оказывалось еще и системно неповторимым, «закончившимся» — исчерпавшим срок своей годности и достигшим пределов своего развития. *Завершенность* культурно-исторических явлений, — своеобразный конец микро-историй — не являлась при этом самоцелью. Скорее, она позволяла понять лучше специфику «отжившего». Выступая в виде стабильной точки отсчета, такое заостренное «вчера» использовалось для сравнительной диагностики, позволявшей выявить и измерить качественно иные параметры движения в будущее. Раннесоветская поэтика «прерывностей рядов, границ, единств, специфических порядков, дифференцированных автономий и зависимостей» [Фуко 2004, 51] постепенно оформлялась в виде фукольдианской археологии знания, для которой «прерывность уже не является отрицанием исторического прочтения (его изнанкой, крахом, ограничением его власти), а становится позитивным элементом, определяющим его объект и утверждающим его анализ» [Там же, 46].

Безусловно, книжка Маршака-Лебедева, значительно способствовала популяризации историзма в стиле «вчера и сегодня», но она вряд ли была первооткрывателем этого метода. Сходный подход и его вариации можно легко обнаружить и в других произведениях детской литературы того времени. Например, популярная хрестоматия под редакцией Константина Соколова — «Игра и труд: Книга для чтения и работы в городской школе» — использовала аналогичный прием историзации. Правда, «вчера» и «сегодня» в данном случае превращались в «прежде» и «теперь», но оставалась неизменной общая тенденция воспринимать историю в виде «бурления прерывностей» [Там же, 40] — в виде контрастирующих режимов материальности, типов субъектности и способов их описания (Рис. 7).

Жилище рабочего прежде и теперь.



Так жили раньше рабочие.



Так живут рабочие теперь.

Прежде и теперь.



До революции здесь жил барин.



После революции здесь устроена школа.

Прежде и теперь.



Прежде здесь жил богатый фабрикант.



Теперь в этом доме детский сад.

Рис. 7. Иллюстрации из книги К. Соколова *Игра и труд*. Первая книга для чтения и работы в городской школе. Изд. 10-е. (Москва—Ленинград, 1930. Художник не указан)

Конец разрывов

Бинарный и политизированный историзм раннесоветской детской литературы сегодня кажется вполне естественным и даже неизбежным следствием общего исторического контекста того времени. На мой взгляд, такое ощущение «естественности» обманчиво и нуждается в своей собственной историзации. Как показывают материалы, собранные в данном архивном блоке, тяга к истории и историзации в 1920-е и 1930-е гг. не была ни предсказуемой, ни очевидной. Как это не удивительно, но сама проблематизация художественной литературы на исторические темы возникает в области российской педагогики довольно поздно. Еще в 1901 г. автор журнала «Русская школа» в статье с показательным названием «Исторические романы и преподавание истории» упрекал «господ педагогов» в том, что они «обращали и обращают чрезвычайно мало внимания» на исторический роман для школьников [Н. Р. 1901, 205–206]. Отсутствие внимания, впрочем, было вполне оправданно:

Известно всем и каждому кто и как приготавливает исторические романы и кому они нужны. Исторические романы представляются своего рода стряпней по рецепту, заимствованному из какой-нибудь поваренной книги. Понадобилось нередко невежественному или полунежественному автору наскоро написать ходовую книжку, он берет

две-три исторические книжки, берет «Архив» или «Старину», извлекает оттуда несколько бытовых и исторических подробностей, берет кое-какие подходящие «исторические» романы других авторов, — и довольно: тят-ляп — и вышел корабль. <...> Нечего и говорить, что такой исторический роман не имеет ничего общего с историей; что воспроизведение даже бытовой обстановки и нравов и обычаев прошлого в нем искать нечего; историческая перспектива чужда ему совершенно, а про героев и героинь и других действующих лиц можно лишь с удивлением и сожалением спросить авторов: с кого они портреты пишут и где такие речи слышат? Оказывается, что в лучшем случае они пишут портреты с себя и своих современников [Там же, 204–205].

Несмотря на такую сокрушительную критику «исторической беллетристики», автор статьи настаивал на том, что «уродливые произведения бесшабашных исторических романистов» не должны заслонять от педагогов «весьма важную суть дела» — высокую популярность («громадную читаемость») исторических романов у подростков и юношества [Там же, 206]. Даже низкопробные исторические романы, по мнению автора, способны (нередко) произвести важный эффект, «своего рода откровение», раскрывая новые горизонты, открывая новые перспективы и сводя многих исторических деятелей «с пьедестала на уровень простых смертных» [Там же, 208].

Эти две крайности — бесшабашные исторических романы, с одной стороны, и необходимость «своего рода откровения» — с другой, будут еще долго определять пространство развития советской исторической литературы для детей. В 1930-е гг. советская периодика не переставала сокрушаться по поводу плачевного положения с историческим знанием детей и подростков. Игнатий Желобовский, например, отмечал в 1935 г., что «сплошное невежество школьников в области истории делает почти недоступным мало-мальски серьезный материал» [Желобовский 1935, 14]. Пять лет спустя — в 1940 г. — академик Евгений Тарле фиксировал сходную ситуацию: «Одно время история в средней школе у нас была фактически истреблена, школьники не знали ничего» [Тарле 1940, 23].

Отсутствие исторических знаний (но не интереса к истории) во многом объяснялось старыми причинами — отсутствием доступной и качественной литературы. В 1936 г. журнал «Детская литература» печатал список ключевых тем, оставшихся вне поля зрения историков: «У нас совсем нет книг по древней истории, по истории средних веков, нет книг даже о таких событиях, как Великая французская буржуазная революция, 1905 год, Февральская

революция, Великая пролетарская Октябрьская революция. Работу по сути дела надо начинать сначала!» [Эйхлер 1936, 38].

Во многом от этой безвыходности именно сфера образования станет тем местом, где вопросы о роли истории и значении историзма зазвучат наиболее отчетливо. Михаил Покровский, заместитель наркома просвещения РСФСР, активный советский деятель в области историк и образования, был во многом прав, заметив в 1930 г., что «изгнанный из истории-науки вопрос о воскрешении прошлого возвращается к нам со стороны педагогики» [Покровский 1930, 7].

Воскрешение-возвращение прошлого линейным не было. Как демонстрируют материалы, представленные ниже, способы актуализации истории, методы ее анализа, формы ее обработки, операции ее присвоения и приемы ее остранения возникали постепенно. В разное время разные функциональные задачи и педагогические цели выходили на передний план или отступали в тень. Разумеется, цели и задачи *литературной* обработки истории отличались от целей и задач собственно исторической литературы или учебников по истории, но при всех своих особенностях, эти сферы исторического знания объединяло общее стремление к поиску адекватного сочетания исторического факта и художественной образности, или, точнее — к оформлению «нужных исторических фактов в живых, убедительных образах» [Тимофеев 1933, 12].

В сфере литературы эти поиски приняли форму долговременной дискуссии о «детской исторической беллетристике» с ее базовым вопросом о том, «нужен ли исторический роман для подростков?» [Кибардин 1929]. Ответ на этот вопрос, как правило, был положительным, но понимание того, какой именно *должна быть* хорошая историческая беллетристика, как правильно подвергать прошлое литературной обработке, оставался открытым. В значительной степени развитие исторической литературы для детей станет своего рода попыткой преодолеть обозначенные в 1901 г. дефекты жанра и выровнять баланс между сухой «историей» и безответственной «выдумкой».

Упрощая, траекторию этого развития можно было бы очертить как движение от стадии *психологической исторической прозы* (сфокусированной на вымышленных или реальных исторических персонажах) — к промежуточной стадии литературы *с установкой на исторический материал* — так называемый «фактоизм» документальной прозы (см. подробнее [Немировская 1927]) — и, наконец, к стадии «гибридной» литературы, «научной по своему содержанию и художественно-литературной по своей обработке»

[Тимофеев 1933, 12]. В ходе этого движения к 1940-м гг. сложилось несколько позиций/требований в отношении методов литературной обработки истории. Отмечу лишь наиболее важные из них.

Прежде всего, новые социальные условия потребовали коренной трансформации традиционного психологизма «старых романов». На место буржуазного индивидуализма пришел «психологический образ типичный для эпохи»; частный и индивидуальный опыт теперь использовался метонимически — как точка доступа к раскрытию и пониманию общего, сущностного содержания события, ситуации или периода в целом [Лысяков 1935, 11].

Сходным образом преодолевалась и излишняя увлеченность документами и историческими материалами. В стремлении (некоторых) авторов подменить «произведения для детей на исторические темы... ...монтажом исторических документов с более или менее удачными комментариями автора» [Там же, 11], критики находили «рабское следование за историческим материалом», с одной стороны, и «тенденция эмпирического и документалистского подхода к искусству», с характерной «недооценкой его (искусства — С.У.) организующего и познавательного значения», с другой [Другов 1933, 123]. Подлинная, качественная историческая беллетристика должна была не только «дать яркий конкретный материал», но и «заразить [читателя] определенным эмоциональным отношением» [Бернадский 1934, 38].

Опасность эксцессов психологизма, которые легко могли быть вызваны таким «эмоционально-насыщенным повествованием» [Там же, 34], уравновешивалась необходимостью демонстрировать закономерности исторического развития. Аффективное воздействие исторической литературы переводилось на прагматический язык методов жизнестроения. Писатель Лев Гумилевский на примере биографии Александра Суворова так инструментализировал важность исторической беллетристики:

Историческое чтение воспитывает нас не хронологическим перечнем документов и выверенных фактов, а установлением идей, связывающих эти факты, установлением законов, управляющих историческими событиями. <...> И мы обращаемся к жизни и деятельности великого человека в поисках метода, при помощи которого он решал свои великие задачи (чтобы научиться решать самостоятельно наши собственные) [Гумилевский 1940, 43].

Наконец, многочисленные попытки выработать правильные способы производства исторической беллетристики для детей

не могли обойти вопрос о необходимости последовательной историзации прошлого и демонстрации его нетождественности настоящему. В желании приблизить историю к современности виделось наступление исторической близорукости. «Василий Ян модернизирует не только одного Спартака, но и все его окружение, — отмечалось в одной книжной рецензии, — Такая модернизация дезориентирует читателя, наводит его на мысль об идентичности рабовладельческого и современного капиталистического мира» [Русскова 1933, 11]. Решение соответственно, находилось в соблюдении исторической и социальной дистанции для того, чтобы получить возможность «внимательно рассмотреть и показать, как писатели различных классов в различные исторические эпохи по-разному показывали одни и те же исторические события» [Лысяков 1935, 10].

Накал раннесоветских дебатов об исторической литературе для детей во многом сойдет на нет во второй половине 1930-х гг. Основной причиной станет активное вмешательство партии и правительства в процесс исторического образования. Специальное Постановление Совета Народных комиссаров и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», опубликованное в мае 1934 г. [Постановление 1934], собственно, и было призвано «навести твердый большевистский порядок и дисциплину» в советской школе, как поясняла передовица «Правды» [За высокое качество 1934]. На смену «отвлеченным социологическим схемам», «малому знакомству с фактами» и оторванности исторических событий от «времени и места» должно было прийти «связное изложение гражданской истории» [За высокое качество 1934, 1]. А основой для «правильного разбора и правильного обобщения исторических событий» должны были послужить «доступность, наглядность и конкретность исторического материала» [Постановление 1934, 1].

Постановление способствовало началу активного производства исторической беллетристики для детей. В течение короткого времени в свет выйдут циклы повестей о прошлом. История и роман вновь соединятся друг с другом, как об этом и мечтал Покровский⁵. Разумеется, подобный «союз» не обойдется без жертв. И в установке на «связность истории» в передовице «Правды» может видеть начальную точку конца раннесоветской поэтики исторических разрывов. Новый акцент на преемственности заглушит «бурление прерывностей». А метафоры последовательных стадий и ступеней вытеснят метафоры сдвигов и словов.

Было бы неоправданным редуccionизмом видеть в этом разрыве исключительно отражение стремления партии и правитель-



Рис. 8. Обложка книги Павла Лопатина «Вчера и сегодня». (Москва: Молодая гвардия, 1930. Художник не указан)

ства к централизации государственного устройства и предсказуемости общественной жизни. Полифония раннесоветского времени предлагала немало способов литературной обработки прошлого, и стремление к исторической связности можно обнаружить в литературе того периода так же легко, как и тягу к поэтике разрывов. Например, в 1930 г. Павел Лопатин выпустил в свет небольшую книжку о строительстве Турксиба под уже хорошо известным названием — «Вчера и сегодня» (Рис. 8). Как и книга Маршака, лопатинская история о старом и новом тоже отражала общую мо-

дернистскую замороженность обещаниями технологического прогресса, переводя их на более глобальный уровень:

Вырастут и распустятся «черные цветы» казахских степей — каменно-угольные рудники. <...> Наконец еще что-то новое, почти неведомое до сих пор, родится в Казахстане — электрический ток. <...> Так проснется древний Казахстан, стряхнув с себя прежнюю дрему, запустение, нищету, чтобы зажечь социалистической жизнью с десятками и сотнями совхозов, с промышленными комбинатами, со школами, клубами библиотеками. И в этом не только всесоюзное, но и мировое значение Туркестано-Сибирской дороги [Лопатин 1930, 38–39]⁶.

Лопатин помещал эти картины проснувшейся древности в повествовательные рамки, не имеющие ничего общего с подходом Маршака. Книга открывалась любопытной попыткой безымянных пионеров историзировать Октябрьскую революцию. Революционная борьба закончилась, — жаловались они. Жизнь вошла в колею; жизнь, в которой уже нет места штурмам «колючих заграждений Перекопа». Нудная и скучная жизнь без фронтов, «без всякой борьбы, без всяких опасностей, героических атак, побед и поражений» [Там же, 6]. Турксиб и пробуждение Азии у Лопатина и должны были стать продолжение революционного импульса Октября — своеобразным противоядием для обезоруживающего пессимизма пионеров-истористов.

Игнорируя временные различия, Лопатин воодушевленно настаивал на том, что «так же, как десять лет тому назад влекла наша недавняя непосредственная борьба с врагом, так и теперь наше гигантское социалистическое строительство не может не увлекать всякого, кто любит его и хочет ему успеха. <...> И вот почему одна и та же слава борцам с винтовкой у Перекопа и борцам с лопатой и костылем на стройке Турксиба!» [Там же, 7, 46]. Вчера здесь оказывалось (почти) таким же, как и сегодня. А сегодня — (почти) таким же, как и вчера. Поэтика исторических разрывов, историзм, да и, кажется, сама история, подходили к концу — в виде непрерывного, бесконечного — *связного* — настоящего. Не могли не подходить?

Примечания

¹ Журнал выходил под редакцией Вячеслава Полонского и, как сообщал журнал, «при ближайшем участии» таких видных революционеров и общественных деятелей, как Анатолий Луначарский, Николай Мещеряков, Михаил Покровский, и Иван Степанов-Скворцов.

- ² Далее ссылки в скобках по тексту.
³ Далее ссылки в скобках по тексту.
⁴ См. подробнее об этом мою статью [Oushakine 2016].
⁵ См. подробнее: [Epic Revisionism 2006].
⁶ Воспроизводится в современной орфографии.

Литература

Источники

- Бернадский 1934* — Бернадский В. Дополнительное чтение по истории // История в средней школе. 1934. № 1. С. 34–40.
- Гинзбург 1931* — Гинзбург Л. Пути детской исторической повести // Детская литература: Критический сборник / Под ред. А. В. Луначарского. Москва–Ленинград: Огиз — Гос. изд-во худ. лит.-ры, 1931. С. 159–181.
- Гринберг 1925* — Гринберг А. О детской советской литературе и детском читателе // Печать и революция. 1925. Кн. 3, май. С. 125–134.
- Гринберг 1925а* — Гринберг А. Книги бывшие и книги будущие // Печать и революция. 1925. Кн. 5–6, июль-сент. С. 243–257.
- Гринберг 2013* — Гринберг А. О новой детской книге и ее читателе: [републикация] // Детские чтения. 2013. № 1 (3). С. 11–19.
- Гумилевский 1940* — Гумилевский Л. Истинный Суворов // Детская литература. 1940. № 7. С. 43–45.
- Другов 1933* — Другов Б. Детская историческая беллетристика // Книга и пролетарская революция. 1933. № 9. С. 120–125.
- Желобовский 1935* — Желобовский И. Рассказывание на исторические темы // Детская литература. 1935. № 4. С. 14–15.
- За высокое качество 1934* — За высокое качество советской школы // Правда. 1934. № 133, 16 мая. С. 1.
- Кибардин 1929* — Кибардин Н. Нужен ли исторический роман для подростков? // Просвещение на транспорте. 1929. № 6. С. 122–124.
- Лопатин 1930* — Лопатин П. Вчера и сегодня: [О Турксібe]. [М.]: Молодая гвардия, 1930. (Деритесь за политехнизм).
- Лысяков 1935* — Лысяков П. За историческую повесть для детей // Детская литература. 1935. № 4. С. 10–13.
- Маршак 1925* — Вчера и сегодня / С. Маршак и В. Лебедев [илл.]. [М.; Л.]: Радуга, 1925.
- Н. Р. 1901* — Н. Р. Исторические романы и преподавание истории // Русская школа. 1901. № 1–2. С. 202–223.

Немировская 1927 — Немировская О. К проблеме современного исторического романа // Звезда. 1927. № 10. С. 121–129.

Покровский 1930 — Покровский М. Предисловие // Серебрякова Г. Женщины французской революции. Москва-Ленинград: Academia, МСМXXX, [1930]. С. 5–11.

Постановление 1934 — Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» // Правда. 1934. № 133, 16 мая. С. 1.

Русакова 1933 — Русакова Е. Модернизированный Spartak // Детская и юношеская литература. 1933. № 10. С. 10–11.

Тарле 1940 — Тарле Е. Об исторической библиотеке Детиздата // Детская литература. 1940. № 11–12. С. 19–23.

Тимофеев 1933 — Тимофеев Л. Задача, разрешенная наполовину // Детская и юношеская литература. 1933. № 10. С. 12–14.

Шкловский 1938 — Шкловский Виктор. Об историческом романе // Детская литература. 1938. № 17. С. 13–16.

Эйхлер 1936 — Эйхлер Г. Детиздат работает над исторической книгой // Детская литература. 1936. № 4. С. 38.

Исследования

Маслинская 2013 — Маслинская С. Гринберг Анна Филипповна // Детские чтения. 2013. № 1 (3). С. 8–11.

Писательницы России — Писательницы России (до первой половины XX века): материалы для биобиблиографического словаря: [электронное издание] / Сост. Ю. А. Горбунов. URL: <http://book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/index.htm>

Фуко 2004 — Фуко М. Археология знания / пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004.

Epic Revisionism 2006 — Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda / Ed. by K. M. F. Platt and D. Brandenberger. Madison: The University of Wisconsin Press, 2006.

Hamilton 1996 — Hamilton P. Historicism. London: Routledge, 1996.

Jameson 2002 — Jameson F. The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge, 2002.

Oushakine 2016 — Oushakine S. Translating Communism for Children: Fables and Posters of the Revolution // Boundary2 (2016). Vol. 43 (2). Pp. 159–219.

References

- Epic Revisionism 2006* — Platt, K. M. F., Brandenberger, D. (Eds.). (2006). *Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Foucault 2004* — Foucault, M. (2004). *Arkheologiya znaniya [L'archeologie du savoir]* (transl. M. B. Rakova, A. Yu. Serebryannikova). St Petersburg: ITS "Gumanitarnaya Akademiya"; Universitetskaya kniga. (In Russian).
- Hamilton 1996* — Hamilton, P. (1996). *Historicism*. London: Routledge.
- Jameson 2002* — Jameson, F. (2002). *The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act*. London: Routledge.
- Maslinskaya 2013* — Maslinskaya, S. (2013). Grinberg Anna Filippovna [Grinberg Anna Filippovna]. *Detskie chtenia*, 1 (3), 8–11.
- Oushakine 2016* — Oushakine, S. (2016). *Translating Communism for Children: Fables and Posters of the Revolution*. *Boundary2*, 43 (2), 159–219.
- Pisatel'nitsy Rossii* — Gorbunov Yu. A. (Ed.). *Pisatel'nitsy Rossii (do pervoy poloviny XX veka): materialy dlya biobibliograficheskogo slovarya [Writers of Russia Writers of Russia (until the first half of the 20th century): materials for the biobibliographic dictionary: [electronic edition]]*. Retrieved from: <http://book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/index.htm>.

Serguei Alex. Oushakine

Princeton University; ORCID: 0000-0002-6758-2135

YESTERDAY AND TODAY: ON THE LITERARY TREATMENT OF HISTORY

The introduction to the archival collection “*To Revive the Past Through Pedagogy: On History and Historicism in Children’s Literature*” starts with a close reading of *Yesterday and Today*, a picture book for children, which the poet Samuil Marshak and the artist Vladimir Lebedev published in 1925 with the private press *Raduga* in Leningrad. Relying on clear binary schemes, the book presented temporal distinctions (yesterday/today) as a combination of differential features. Belonging to different time frames was presented not simply as a matter of chronology; also, it was read as a manifestation of cultural differences (old/new), that is, as differences constructed and appropriated through time, and, simultaneously, as a clear expression of historical differences (outdated/progressive), i.e., as differences that were rooted in a specific and therefore irreproducible context. The historical juxtaposition of the world of yesterday and the world of today was conceptualized in *Yesterday and Today* as a juxtaposition of two different orders of

things — the things of the past vs. the things of the present. However, in the finale of the book this early Soviet version of the object-oriented ontology was transformed into something else: everyday objects reemerged as social symptoms. The order of things was re-coded as a metonym of a social order: behind everyday objects of the past and the present, there were “former” and “new” people, lurking. This contrastive multilevel juxtaposition of yesterday and today diffused the linearity of history; the continuity of the material, intellectual, and social progression was subjected to purposeful fragmentation and polarization. And the habitual obviousness of the gap between “yesterday” and “today” was called upon to justify the organic — and therefore natural — essence of such fragmentations and breaks. *Yesterday and Today* was among the first Soviet books for children to articulate the contrastive method of the early Soviet historicism in a graphic and accessible way. The book’s poetics of historical discontinuities, gaps, and shifts provided an important foundation for the literary treatment of history in the early Soviet period. Moreover, the method of contrastive juxtaposition of the past and the present, of the good and the bad, of the heroic and the cowardly would be quickly turned into a popular narrative formula of Soviet literature for children. By grounding things and people in distinctive temporal settings, this early Soviet version of historicism could successfully organize the multidimensional and heterogenous coexistence of distinctive practices, mentalities, and symbolic frameworks. Incompatible things, styles, and ways of life were placed in their book on their own — separate — pages, as if to emphasize their historically discordant relations. The poetics of historical discontinuities evolved into a politics of historical incompatibility of heterogenous things, styles, and ways of life. By the middle of the 1930s, the poetics of historical discontinuities would be revised and reframed. A desire to juxtapose the past and the present would be replaced by the desire to demonstrate historical continuity. As an organizing model, “yesterday and today” would still be in use but its meaning would dramatically change: “today” would be perceived as a natural continuation of the revolutionary “yesterday.” “Gaps,” “breaks” and “shifts” would be pushed out by “stages” and “steps.” Historical allegories would make historicism ideologically useless and aesthetically irrelevant.

Keywords: historicism, past and present, the poetics of discontinuity, historical incompatibility, temporality, object-oriented ontology, historical materialism